

## Предисловие\*

Эта книга задумывалась и создавалась как ряд исследований, место которых вряд ли может заранее описываться границами определенного теоретического поля, скорее, оно само задается в сочетании и соприкосновении многих мест, относящихся к каждому из исследований. Это, как нам кажется, отличает ее от некогда устоявшегося стиля философии, который сводится к манифестации замкнутого и бесконечно эксплицируемого содержания – независимо от того, является ли это содержание содержанием мысли автора или же независимым содержанием концепта, теории или системы. Такое отличие, несомненно, может обернуться в некоторое неудобство чтения, состоящее в том, что читатель лишается привычных герменевтических возможностей, ранее позволявших ему понимать всю книгу, прочитав несколько «ключевых», по его мнению, страниц. Отношение к философскому исследованию, задаваемое подобными читательскими герменевтическими стратегиями, является, на наш взгляд, наименее продуктивным и даже опасным. Обладателям «ключей», как правило, достаточно сознавать свою власть над дверьми и замками, не заглядывая за них; в конечном счете, они становятся профессионалами с отмычкой, которым нет дела до того, что открывается за открытой ими страницей.

Касательно отношения философии к письму (сколь бы малозначительным ни был для нас этот вопрос, он имеет некоторое культурное значение, и поэтому его пристало обсудить именно в предисловии), мы выделяем несколько «тонов» философии. Первый тон характеризуется аксиомой «пишу, как думаю», аксиомой, которая в пределе полагает тождество письма и мысли, задавая, однако, проблематику, схожую с проблематикой *mind/body* – и столь же трудно-разрешимую. Этот тон «простого письма» в настоящее время практически вышел из обихода, став неким анахронизмом. Тем не менее, он задает тональность и модальность большей части классических текстов философии, являясь чем-то вроде ее собственного определения (из перспективы письма философия может определяться по вышеприведенной аксиоме). Второй тон предполагает возвращение к «сложному» письму – литературному, профетическому, экзистенциальному. В этом случае уже нельзя писать, как думаешь – акты мысли и письма оказываются жестко расчлененными, хотя всегда остается возможность философской игры именно на их различии (например, мысль философа становится неким ресурсом бесконечного литературного розыгрыша). Преимущество второго тона в некоторых продуктивных возможностях, которые могут сыграть на руку философии, а его неудобство в возможном погружении всей философии как таковой в сферу письма и литературы (ставшее *folk* вариантом постструктурализма). Существует, наконец, и третий тон – глухой тон отказа от письма, который, пытаясь возвратиться к чистому голосу, становится еще и немым. Глухонемая философия принуждена пользоваться теми же самыми средствами и обсуждать те же самые темы, что и любая другая, но особым образом и в особом изложении – точно так же глухонемые люди пользуются языком жестов, который является трансформацией обычного языка.

Как можно было бы заметить, все три тона составляют единую тональность, единство которой определяется по затянувшейся тяжбе философии и культуры (или, в частности, философии и письма). На наш взгляд, оставаясь внутри такой тональности, мы будем еще долго петь одну и ту же песню, разложенную на свои метафизические и антиметафизические составляющие. Возможно, такой процесс доставляет немалое удовольствие, ведь песня поется не в

целях исследования или коммуникации, а ради самой себя. Тройная тональность философии, заключенная в ее привязанности к собственному письму, для нас оказывается показателем исключения собственно философских исследовательских задач – сколь бы ни казалась подобная претензия консервативной и классической. Действительно, первый тон поет всегда от своего голоса, так что достаточно уловить его тембр, регистр и пару куплетов – и дело в шляпе (поэтому каждый начинает считать себя знатоком философии – в отличие, к примеру, от квантовой механики). Второй тон – как реакция и контр-тон первого – предпочитает разбиение на бесконечные интерлюдии, которые, впрочем, либо сохраняют призрак «единства смысла» (или тона), либо же предпочитают заниматься его бесконечным изгнанием. Третий же тон замыкает мегапесню философии, составляя аккорд ее простого трезвучия: как критика литературной формы он предполагает возвращение к первому тону, но и отказывается от него как шага, приводящего к пагубным последствиям тона второго.

Задача, которая была попутно поставлена в нашей работе, если смотреть на неё (как мы сами не делаем и другим не советуем делать) из только что очерченной перспективы, – это задача «сбавить тон», то есть попросту отказаться от неперемного участия в вышеупомянутой тяжбе, участия, которое ограничивает всю философию стенами подобного «процесса». Как люди без слуха и прочих музыкальных способностей мы даже не пытались спеть в тон с одной из философских тональностей или, тем более, сыграть на всех них сразу. Наше подозрение заключается в том, что само выделение и «темперирование» этих тональностей может быть пересмотрено и преобразовано, что совпадает с главными теоретическими шагами, предпринятыми в этой книге. Быть может, кто-то со стороны различит множество легко узнаваемых нот той песни, которая только что была рассказана. Но так же мы узнаём «пение» птиц, в журчании ручья слышится разговор, а небесные сферы вообще всегда были склонны оглушать нас своей нескончаемой рок-оперой. Для нас, тем не менее, гораздо более интересна ситуация, описанная в рассказе «Певица Жозефина» Ф. Кафки (которого мы считаем один из наших главных поставщиков теоретического материала): предел пения обнаруживается в писке, который ничем не отличается от простонародного писка. Понижение тона, заявленное в качестве добавочной задачи нашей работы, ничем не отличается от его повышения, причина чему очень проста – оно осуществляется путем операции над размером, ведь существо, малое по своему размеру, поет более высоким тоном (как лилипуты), но именно этот высокий тон, переходящий в писк, сбавляет свою значимость, то есть это уже не прежний патетический разговор «на повышенных тонах». Такое повышение-понижение, которое вряд ли может быть распространено посредством вышеописанного мега-фона философии, нацелено на то, что находится уже за пределом феноменального писка Жозефины и даже ее «последнего писка», которым как будто бы определяется философская «современность».

Наши попытки, таким образом, концентрируются вокруг понимания философии как некоторой исследовательской практики, которая не может быть ограничена доминирующими темами, задающими описанную тональность философии, превращая ее в систему взаимосвязанных кодов, под которыми прежде всего понимаются коды чтения и письма. Много раз повторившееся слово «исследование» неизбежно выводит на вопрос о «научном исследовании» и на мало перспективную проблему общего определения науки и философии. Классическая и, возможно, консервативная сторона наших попыток, несомненно, тяготеет к восстановлению «научного стиля». Мы понимаем, что такое заявле-

ние грешит неопределенностью, но для его определения как раз и служит все то, что можно прочесть в текстах, собранных в этой книге. Если же использовать для кого-то полностью дезавуированный термин «наука», то для нас он означает такую исследовательскую практику (отличенную, к примеру, от практики богосискательства или медитации), которая, кроме прочего, позволяет сегодня думать не так, как вчера, причем такое изменение не влечет морального или социального порицания. В этом смысле философия для нас прямо противоположна многообразным теориям экспликации личного опыта, одной-единственной фундаментальной мысли, оказывающейся залогом единственности ее автора. Мы выступаем против засилья подобного «авторского стиля» в философии – поэтому-то в нашей работе только данное предисловие стоило бы считать написанным «от авторов», тогда как изучение всего остального текста вовсе не требует такого рода посылки.

С другой стороны, «научная» квалификация для нас является не центральным «пунктом» или симптомом невротической привязанности, а, скорее, следствием предпринимаемого в предисловии самоописания, которое, по сути, для нас не необходимо. Раз уж предисловие в книге всегда оказывается некоей «захваченной территорией», все описания, приводимые в нем, отдаются на откуп возможных обращений и множасьих неточностей. Поскольку же «наука» для нас не является «кодом научности», наши исследования вообще не имеют науку в качестве своего предмета, не стремятся «походить» на неё, не занимаются сюжетами частных наук и, таким образом, с точки зрения упомянутого кода, вообще не имеют к науке никакого отношения. Другое дело, что для нас такое отношение несомненно в силу того, что наши шаги в философии не были заданы научной, философской или литературной «моделью», требующей своего неукоснительного повторения, а определялись набором теоретических задач, возникающих, скорее, из чистого любопытства. Именно поэтому в текстах этой книги отдельные темы могут отсылать к текстам научно-ориентированной (а именно англо-американской) философии, другие – к текстам современной континентальной философии, а другие точно в таком же модусе работы принуждены связываться с классическими сюжетами и концепциями: подобная структура объясняется тем, что она вообще не ориентируется на практику «чтения-письма». Несмотря на то, что теоретическое единство не является нашей задачей, оно устанавливается вопреки заверениям в его несостоятельности. В этом смысле нашим преимущественным интересом не может быть картография современной философии и наше место на этой карте, предполагающей множество непроходимых различий, хотя как предмет исследования она, несомненно, косвенно затрагивается в нашей работе. Поскольку работа эта по большей части занята иными вопросами, вопрос определения нашего места и уместности мы оставляем на долю критиков, которые, несомненно, должны участвовать в общефилософском разделении труда.

В качестве краткого литературного комментария, роль которого выделена данному предисловию, мы считаем должным, не отсылая к конкретным текстам книги и не пересказывая их, отметить некоторые особенности, которые могут показаться неприятными, неудобными или вызывающими. Естественно, что в наши задачи не входило сделать текст неудобным, вызывающим, провоцирующим и т.п. То использование отдельных тем, сюжетов, концепций и текстов, которое может натолкнуть на подобные догадки, в действительности жестко связано с определенными теоретическими задачами. Так, привлечение текстов Ф. Кафки или Р. Шекли ни в коей мере не ставит проблемы их

комментирования или извлечения их философского содержания. Для нас они были нужны как модель или даже иллюстрация тех теоретических трансформаций, осуществление которых стало для нас логически необходимым. Иначе говоря, литературные тексты используются у нас так же, как и любой иной материал, способный стать материалом исследования и изучения, ведущегося по собственной логике и собственным законам. Поэтому здесь не может быть какой бы то ни было претензии на конгениальность приводимым авторам или их текстам: точки пересечения этих текстов с нашим могут оказаться или касательными, или даже фиктивными (так что наш текст зачастую начинается там, где линия другого текста уже завершена или оборвана). Несколько примеров из фантастической литературы выполняют ту же самую функцию – как правило, они демонстрируют некоторую нетривиальную ситуацию, требующую решения. Наконец, использование концептов классической и современной философии всегда подчинено тем же самым законам – оно никогда не направлено на их «изучение» или «реконструкцию», проводимым в историческом ключе, служа заданию концептуальной ситуации, внутри которой затем производится работа.

Последнее замечание, расцениваемое нами как относящееся к предисловию, касается факта двойного авторства. Для нас он – при учете всего остального – не представляется таким уж многозначительным. Если даже попытаться выделить некий набор идей, отправных для этой книги, то окажется, что практически все они возникли в процессе той совместной работы, когда о собственно книге речи еще не было. Но кому-то, вероятно, коллективное философское творчество кажется малореальным или даже несостоятельным. В качестве примера подобной реакции можно привести слова одного весьма уважаемого нами философа и ученого, который участвовал в предварительном обсуждении отдельных тем нашей работы. Узнав, что она была написана коллективно, он сказал: «Так вы всё это вместе писали, или всё-таки тут есть какие-то осмысленные абзацы?». Несмотря на поразительную силу такой аргументации и лежащего в ее основании различия «осмысленного» и «вместе», мы можем ответственно заявить: некоторые осмысленные абзацы в нашей книге сохранились, хотя и работали над ними мы вместе. В противоположность такому подходу, обесценивающему все, что не делается в автономной сфере авторского мышления, мы полагаем, что двойное авторство – что-то вроде двойного гражданства, дающего определенные преимущества, но и налагающего немало обязательств.

---

\* Мы должны поблагодарить В.В. Васильева, М.А. Гарнцева и Ф.И. Гиренка за полезные комментарии.